

Глеб Иванович Успенский

Три письма



Глеб Иванович Успенский

Три письма

Серия «Новые времена,
новые заботы», книга 8

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664905*

Аннотация

«...В рассказе (в лице рассказчика и его друга) противопоставлены два типа интеллигентов-разночинцев 70-х годов. Если рассказчик, переживший в молодости под влиянием революционного возбуждения «61 и 62 года» период увлечения передовыми идеями, кончил службой в провинциальном банке, то его друг (названный в рассказе «иностранцем») сделал живое, конкретное дело для людей, пожертвовал собой для того, чтобы возродить к нормальной, трудовой жизни трех брошенных на произвол судьбы детей. ...»

Содержание

I	4
II	17
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Глеб Иванович Успенский

Три письма

*(Из воспоминаний
«безнадежного»)*

I

- Вы что это пишете?
- Письмо...
- Кому это?
- Матери...
- О чем?
- Да так, обо всем.
- Уж что-то вы больно долго!..

Такие вопросы, ровно пятнадцать лет тому назад, в один скучный осенний вечер, самым недовольным тоном задавал я моему сожителю по комнате. Дело происходило в Москве, на Живодерке¹, в одном из несчастнейших деревянных домишек, в оборванных, грязных, нищенских комнатках которого обитало великое множество народа. В этот памятный мне вечер (почему он мне памятен, читатель узнает ниже)

¹ Живодерка – улица в Москве.

я был особенно расстроен и ворчлив. Не последнее место в этом состоянии духа занимало то, что из дому вот уж второй месяц мне не присылали денег, и это обстоятельство, понемногу раздражая меня напрасным ожиданием, наконец довело до значительного расстройства именно в тот унылый осенний вечер, пятнадцать лет тому назад. Все мне было противно, пошло, тоскливо и враждебно. Отвратительны были всхлипывания квартирной хозяйки, доносившиеся из кухни: эта старая дура вот уже шестой месяц, то есть все время моего пребывания в ее скверных комнатах, «разъезжается» с своим возлюбленным, хромым портным, подряд шесть месяцев они каждый день напиваются пьяны, плачут, ругаются и засыпают тут же в кухне, поникнув головами на стол, а с утра вновь начинаются упреки, слезы, похмелье, пиво, словом – полное прощание. «Иди, иди! сделай одолжение!» – утирая нос грязным подолом, хрипела хозяйка... «И уйду! Раззорительница моя! Уй-ду!..» – «Иди, иди!» – «Уй-ду! У-у...» И это с утра до ночи, и никто не уйдет, и оба целый день пьют и в самом деле разоряются.

Так бы вот пошел и разогнал их в разные стороны... Сердила меня и эта засаленная нищенская комната, и эта кровать, на которой нельзя было повернуться мало-мальски либерально, чтобы не провалились либо нога, либо голова; скверно действовал и этот тусклый свет низенькой лампы, и табачный дым, и холод, и низкий потолок, и дождь... Но более всего возмущал меня мой сожитель по комнате, терпе-

ливо скрипевший пером вот уж без малого третий час и решительно, казалось, не чувствовавший, не понимавший того, что я испытывал, лежа на кровати. Когда-то, лет пять-шесть ранее этого скучного вечера на Живодерке, мы учились с этим человеком (его называли в гимназии «иностранец», так как отец его был швейцарец, хотя сам «иностранец» родился в России и от русской матери): в гимназии мы провели вместе четыре года до четвертого класса, но потом я перешел в другую гимназию, в другой город, уехал по окончании курса в Петербург в университет и, проштатавшись целый год (зиму, весну и лето), перебрался в Москву... Если читатель припомнит, какое впечатление могли произвести на провинциального гимназиста 61-й и 62-й годы, то он поймет разумеется, что, явившись после этого года «посвящения» в Москву «для продолжения моего образования», я не столько был объят желанием посещать университетские лекции, сколько стремлением – увы! в высшей степени неопределенным – стремлением к деятельности. Чтобы не вводить читателя в обман, скажу прямо, что из меня не вышло деятеля (это все будет ниже) и что, следовательно, ему нет никаких резонов рассчитывать на то, чтобы на нижеследующих страницах были воскрешены в его памяти какие-нибудь минуты тех дней. Пишущий эти мемуары не оправдал надежд на самого себя и в смысле «деятели» ровно ничего представить не может... Но пятнадцать лет тому назад ожидания эти у меня были и, сливаясь вообще в представление о необхо-

димости «деятельности», и притом где-то не здесь, в пошлой и мучительной глупой действительности, а где-то там, неизмеримо выше ее, заставляли меня с большим пренебрежением смотреть на мелкую людскую гомозню. «Все связи, – как я тогда был совершенно уверен, – со всем этим – я порвал». Для меня не существовало ни родителей, ни родины, ни желания выбиться в люди и для этого ходить на лекции, словом – не существовало ничего «старого», все это осуждено было в виду чего-то громадного, нового, которое принадлежит не «им», а «нам»... «Они» – пожалуй, могут выслать мне несколько денег «пока» – но и только... Так казалось мне в первые, самые ясные минуты моего пробуждения, и вот в таком-то настроении встретился я на одной из московских улиц с этим «иностранцем». Я был рад старому товарищу, рад был порассказать о чудесах, которые я видел, снисходительно пропуская мимо ушей его рассказы о гимназическом начальстве, но очень скоро оказалось, что он меня «не удовлетворяет». Правда, он также не ходил в университет, но не потому, чтобы «презирал», а потому, что у него не было денег, потому что он должен был давать уроки, посылать ежемесячно деньги матери, которая также жила уроками в том же городе, который я уж из головы выкинул... Какая-то узость цели и притом однообразие недель и дней, посвященных на ее достижение, свидетельствовали о несомненной ограниченности этого человека... Правда, не получая из дому денег и не посещая университета, я не делал ни-

чего другого, как сопровождал этого же самого ограниченного человека по Москве в его поисках уроков, поджидал его где-нибудь в садике или просто на улице, покуда он заходил в тот или другой дом, согласно объявлению в «Полицейских ведомостях»², вызывавшему учителя; правда также и то, что я был очень обязан ему за то, что он внес за меня деньги хозяйке, что я курил его табак, пил его чай, и т. д., и т. д.: но все это – и эти одолжения и это праздное мое шатание – я ставил под рубрику «Пока» и не придавал ни тому, ни другому особенного значения. Я не ставил себе в вину и этих праздных ежедневных прогулок по Москве, потому что в продолжение их я ни на минуту не прекращал выяснять (насколько понимал сам) мои новые взгляды, надежды и ожидания и вовсе не замечал, что уже третий месяц «шатаюсь», да еще «по Москве». И не то чтобы несочувствие к моим разговорам и новым стремлениям обижало меня в этом «иностранце», – нет, он, напротив, ни разу не прервал меня, ни разу не поспорил со мной, скажу даже более, он, казалось, даже внимательно прислушивался к каждому моему слову; но я видел, к великому моему огорчению, что слова мои ни на волос не изменяют ни его поведения, ни его взглядов, ни желаний... Слушает, слушает, кажется, внимательно, потом неожиданно вздохнет и скажет: «ах, уроков, уроков!» – точно обдаст холодной водой. И притом каждый

² «Полицейские ведомости» – газета «Ведомости московской городской полиции», в которой печатались объявления.

день одно и то же: утром чем свет – чтение «Полицейских ведомостей», трехкопеечная булка с чаем вприкуску, потом беготня по адресам, рассказы самые подробнейшие о том, кого он видел, что ему сказали, когда велели прийти, и затем описание всей этой скуки то матери, то брату, то сестре... Кажется, никакими барабанами нельзя было, хоть на единую минуту, расшевелить эту ограниченность, заставить его почувствовать всю прелесть предстоящей всему молодому деятельности. В редких случаях он иной раз вздохнет и как будто задумается, но это еще неизвестно, потому ли он вздохнет, что восчувствовал, или все потому же, что нет уроков. Глядя на эту неподвижность мысли «иностранца», я тогда же решил, что из него ничего не выйдет, «выйдет» учитель и больше ничего, – а уж это что ж за будущность и что за поприще!.. Все его знакомые, посещавшие нас, также крайне меня стесняли, так как блистали также ограниченностью: это были какие-то иностранцы портные, чуть не сапожники, служащие в каких-то конторах и т. д. Все они говорили про места, кто сколько получает, бранили хозяев, все поголовно желали прибавки на скромные суммы, рублей в пятнадцать, в десять, звали в свободное время в портерную – и только; узость их целей и желаний была ниже всякой критики. С этим народом я не находил возможности сказать ни единого слова, а между тем «иностранец», повидимому, так сжился с ними, что иной раз покидал меня, и покидал в самые патетические для меня минуты, когда мне непременно

нужен был слушатель, – покидал для того, чтобы идти к какому-нибудь из этих провизоров, этих портных на свидание для разговоров о каком-то письме, полученном от родственников, или для получения сведений насчет тех же уроков. Я уж давно подумывал разойтись с этой «утомительно-узкой» сферой взглядов, в которой мне пришлось быть благодаря «иностранцу», его приятелям и безденежью, но безденежье, а главное что-то хорошее, что я не трудился определить в ту пору, невольно как бы связывало меня с ним, даже влекло к нему... Возвращаясь домой, в тех случаях, когда я не сопровождал его, он всегда радовался совершенно по-детски, что я дома... «Ели?» – всегда был первый вопрос, который он мне задавал, входя в комнату, и всегда вслед за этим с сияющим лицом вытаскивал булку и колбасу или яйцо. Он всегда расспрашивал меня о том, что со мной было, пока он уходил, а потом уже начинал рассказывать, что делал он сам и где был. Что-то нежное, женское проглядывало в бесчисленных мелочах, и, должно быть, эта-то черта и смягчала мою к нему холодность, потому что бывали минуты, когда я, «разорвавший со всем», уже чувствовал холод одиночества... «Есть ли у вас платок?», «Есть ли табак?», «Полотенце там и мыло там!» – указывал он и спрашивал меня непременно всякий раз, когда уходил на поиски; выглянет в дверь и спросит: «все есть?» и только получив утвердительный ответ, уйдет, сказав: «ну, прощайте!», и после того еще непременно раза два второпях воротится: «если увидите – приходите скорей!..»

И я почему-то в самом деле, уходя без него из дому, торопился прийти «поскорее», а встретившись, не мог иначе, как с нескрываемым неудовольствием, выслушивать его рассказы, как он пришел, как позвонил, кто вышел и т. д. И вот этого-то неудовольствия, как мне тогда казалось, он и не замечал во мне, весь погруженный в свои уроки и разные мелочи.

Но в тот памятный мне осенний вечер я был так раздражен всем и всеми, что ни в ком и ни в чем не мог видеть что-нибудь привлекательное. Тем более мне был ненавистен этот человек, который имеет терпение чуть ли не пять часов кряду скрипеть пером над моим ухом, не обращая внимания на то, что мне надобно откуда-нибудь слышать хоть какое-нибудь человеческое слово для того, чтобы поговорить и тем облегчить кипевшую раздражением грудь. Никогда этот человек не представлялся мне в такой степени рутинным, сухим, думающим только о себе самом, о каком-то вздоре, который никому не нужен и никому на свете не интересен.

Так я бесновался внутренно, а он все скрипел пером и пускал клубы дыма.

– Да об чем вы можете так много писать? – не вытерпел я.

Я проговорил это громко, неожиданно и сел на кровать, приготовляясь завязать обличительный разговор. «Иностранец» покраснел, как маков цвет, и, не поднимая головы от письма, как-то жалобно улыбнулся,

– Ей-богу, – продолжал я: – вот я бы... Я бы решительно не знал, что мне писать, если б пришлось писать так много...

матушке... Тут непременно надо врать что-нибудь, то есть писать то, что вовсе не интересует...

При слове «врать» жалобная, как бы извиняющаяся улыбка, лежавшая на его лице, чересчур ярко освещенном низенькой лампочкой, исчезла. Какая-то грусть легла на нем, и он с легким неудовольствием в голосе произнес:

– Как врать?.. Я думаю, вашу матушку также интересует все, что с вами делается?..

– К несчастью, то, что со мною делается, я думаю, не очень-то может ее интересовать! – язвительно произнес я, радуясь возможности освежить среди томившей меня тоски главную причину моего «особенного» положения на белом свете, то есть того, что я «со всем этим разорвал». – Ее не только не интересуют мои интересы, но, я думаю, если бы я был так же откровенен с ней, как вы с вашей матушкой, – я бы, наверное, привел ее в ужас... Я был бы источником мучений и слез... А то, что интересует ее, ни капли не занимает меня, и вот почему я бы должен был врать...

– Ну, а у меня с ней, – перебил меня «иностранец», – одни интересы.

– А!

Это «а» я произнес, как я думал, самым пренебрежительным тоном. Но в то же время я почувствовал, что я совершенно сконфужен, и не только сконфужен, а даже как будто еще и завидую этому, обуянному всяческими мелкими «интересами» и всякими пустяками, человеку... Да, я позави-

довал ему и позавидовал тому, что он мог сказать такие слова, позавидовал и почувствовал еще большее раздражение и злость.

Сказав «а», я не находил ни единого слова, которое мог бы прибавить к нему; слова: «у нас с ней интересы одни» лишили меня всякой возможности подсмеиваться и иронизировать, и я, как самый плохой провинциальный актер, с самым фальшивым ироническим дрожанием в голосе, с великим трудом мог произнести после значительного молчания:

– А! – ну, это другое дело... Но все-таки уж чересчур что-то... Я не знаю...

Я чувствовал, что мне ничего не остается, как замолчать, и раздумывал, как бы совершить это неприятное дело с большею или меньшею беспечностью. И «иностранец», казалось, также понял неловкость моего положения, потому что он опять покраснелся, подергал свою бородку и несколько раз поправил свои белокурые густые, в русскую скобку обстриженные волосы и еще ниже наклонился над своей бумагой, шопотом перечитывая написанную страницу и, очевидно, стараясь показать мне, что он совершенно занят «своим» и не замечает моего неловкого положения. Несмотря на то, что я всеми силами также старался не выказать своего смущения, для чего довольно развязно подошел к столу, за которым писал «иностранец», и медленно принялся набивать папиросу, несмотря на то, что я старался удержать в себе мысль о мелочности этих «ихних» общих интересов, что я старал-

ся представить себе всю громадную разницу между тем, что волнует меня, и тем, что держит на свете «его», – я никак не мог победить в себе чувства зависти к нему, не мог почему-то не чувствовать, что он с своими мелочами прочней меня чувствует себя на белом свете, и ясно видел, что ему теплей и веселей жить, тогда как мне и холодно и даже – обидно...

Я набивал папиросу, он писал, и оба мы молчали... Неловкое было это молчание... Его прервал какой-то шум и разговоры за дверью, и вслед за тем с шумом распахнутая полупьяною хозяйкой дверь впустила в комнату двух незнакомых лиц: мужчину в енотовой шубе и даму.

– Здесь... объявляли? уроки?..

– Это к вам! – сказал я «иностранцу» и вышел в коридор, чтобы не мешать их разговору.

Несмотря на сумрак, распространяемый лампой, я, идя к двери, мог заметить, что мужчина походил на какого-то дьякона или священника – так оброс он волосами и в таком беспорядке они были. Рост его был громаден, но глаза не выражали здоровья и силы: что-то вялое, тупое и будто полупьяное виднелось в них. Сопровождавшая этого господина дама была очень маленького роста, широкоплечая и плосколицая, с плоскими белесоватыми глазами, выражавшими, однако, какую-то ненатуральную игривость... Чересчур маленькая шапочка, сидевшая как-то набекрень, и в то же время явные признаки недостатка зубов, выражавшиеся

в старческом складе губ, все это производило неприятное впечатление аляповатой искусственности, какой-то вычурности, рассчитанной на очень плохие вкусы.

Едва я вышел в коридор, как тотчас же послышалась немолчная речь дамы, еще более усилившая дурное впечатление, так как голос ее звучал какой-то разбитой хрипотой... Мужчина только покашливал и молчал. Переговоры продолжались добрый час, в течение которого я то ходил по коридору, то выходил на деревянную лестницу с стеклянной галереей.

«Что, если он кончит с ними и уедет?» – думал я, смотря сквозь разбитые, кое-как склеенные стекла галереи, по которым лились потоки дождя, в непроницаемую тьму осеннего вечера.

И мне было жалко его, сам не знаю почему... Потому ли, что я оставался один в этой противной квартире, потому ли, что он добился своего, хоть и ничтожного дела, а я еще как будто и не начинал моего большого, – не знаю. Но когда в самом деле «иностранец» после ухода посетителей сказал мне, что он уезжает, что дело кончено, я с невольной грустью спросил его:

– Когда же?

– Завтра, непременно!

Я почувствовал, что мы надолго расстанемся, что пойдем по разным дорогам, и скоро мысль о «моей дороге» разогнала мою грусть. Да, не только разогнала, а еще заставила меня

додуматься до обвинения этого же «иностранца» в том, что я столько времени ничего не делал; происходило это именно оттого, что я связался с совсем неподходящими мне людьми и оттого осовел.

– Ну, счастливой вам дороги! – сказал я уж совершенно спокойно, чувствуя в себе силу, без всяких посторонних пособий в виде булок, табаку и т. д., выдержать предстоящую мне борьбу.

– Спасибо вам, – сказал «иностранец», возившийся над чемоданом: – я вам очень, очень благодарен...

Это было сказано так искренно, что я невольно смутился.

– За что?

– Так! Очень, очень... спасибо! – затягивая веревку, бормотал он.

Вечером мы распили на прощанье не одну бутылку пива, каждый говоря «о своем» и не мешая этим друг другу, а на другой день простились.

II

С тех пор прошло пятнадцать лет. Мы, точно, шли разными дорогами – но что ж оказалось? Оказалось, что я не только не осуществил ни одной крупницы из моих обширных планов, но, напротив, в ту минуту, когда пишутся эти воспоминания, я вижу единственную возможность существования для себя – только под условием «хлопотать только о себе»; а переполненный мелочными интересами, мелкими заботами и прочими ничтожными качествами «иностранец», ни на минуту не изменяя этим качествам, этим «мелочам», делал и делает то самое дело «не для себя», о котором я мечтал в дни юности и которое теперь заменилось, как я уже сказал, желанием жить, никому и ничему не позволяя себя трогать, сознанием, что исполнение этого желания есть удовольствие, и очень, очень большое удовольствие.

Как же это могло случиться? И отчего?

Я уже сказал в начале этого рассказа, что считаю себя из совершенно бесцветных людей последнего периода русской жизни, но при всей моей неважности я если и не был «избранным», то «званным» был и вместе с целыми такими же толпами этих избранных начинаю новую эру русской жизни, жизни *только* на себя, только в своем углу, только под условием: «не мешай мне», а я мешать никому не буду... Я вот очень, очень рад, что сообразно моей незначительности

я все-таки имею обеспечивающее мои труды место, шелкая счетами в с-м банке губернского города N, и очень рад, что мне почти не приходится «жить». Я хожу в должность, возвращаюсь домой, ем, сплю, читаю, сижу в театре, в концерте, бываю в гостях, разговариваю о чем придется, и т. д., и т. д.; но, как ни однообразно и пошло все это, – я все-таки не перестаю во всех этих пошлых действиях и поступках чувствовать удовольствие от сознания, что все это, во-первых, не жизнь, а так что-то, что меня не трогает, и, во-вторых, что во всем этом я решительно могу не тревожить своей мысли. Существовать среди людей, смотреть на людей и сознавать, что если ты не захочешь сам, то тебя никто из них не тронет, вот в сущности в чем состоит мой теперешний идеал и, как надеюсь, идеал великого множества русских людей того же самого калибра и нравственного совершенства, как и я. Что такое влияние или направление вторгается под разными видами в русскую жизнь, в русскую мысль – в этом я не сомневаюсь, иначе я бы и не решился излагать моих размышлений по этому случаю. Нечто враждебное ко всем этим мечтаниям и опытам молодости слышится повсюду, и, главное, от тех же самых людей, которые именно и предавались этим мечтаниям всей душой. Именно у этих-то людей, у этой-то толпы, когда-то «вытолкнутой» на свет божий из тьмы, и отыскиваются доводы, доказывающие бессмыслицу, глупость, даже подлость всевозможных мечтаний; именно в этой-то толпе и вырабатывается, конечно прикрытая разны-

ми соображениями, теория «апатии»... Теория основательная, прочная и обещающая большие успехи в будущем, так как в основании ее лежит совершенно непритворное и притом продолжительное испытанное «страдание».

Ради вот только этого-то основания новой теории – «жить, по возможности не зная людей» – я и осмеливаюсь говорить о себе, о своих ничтожных мечтаниях и размышлениях... Да, и меня и всех мне подобных привел к этому безотрадному выводу опыт, переполненный всякой муки, всякой горечи, всяческого страха и ужаса перед самим собой, – и это главное. Я рад, что могу целое утро щелкать счетами, а вечером разговаривать с знакомыми всякий вздор, потому именно рад, что это – вздор, что это меня «не касается», так как где бы и что бы меня ни коснулось – мне везде и все больно... Но так как и у самого труднобольного бывают минуты облегчения, просветления ума и бодрости духа, то иногда и меня посещает сознание того, какое я – ничтожество со всеми своими страданиями, со своею боязнью жизни. И то, что прожито, то, что когда-то «безрассудно думалось», начинает казаться мне куда как хорошим, чистым и умным сравнительно с теми жвачными взглядами, которые я теперь исповедую. В такие минуты все прошлое представляется мне необыкновенно завидным, и я начинаю предаваться воспоминаниям этого прошлого, припоминаю лица, события, горькие, гнусные, гнусные минуты – и все, и горькое, гнусное, и глупое, начинает казаться мне гораздо лучше того, на что я теперь

смотрю, что делаю... До того лучше, что иной раз мне приходит в голову мысль: «взять да уйти!» Но эта мысль приходит только на мгновение, только на миг, так как «уйти» значит вновь вступить в жизнь, а «жить» – для меня так страшно, так мучительно, что представление о возможности нового повторения того, что я испытал уж, мгновенно прекращает всякие смелые мысли вроде «уйти», и я вновь съеживаюсь в своем углу, вновь радуюсь, что я один, что окно занесено снегом, что, несмотря на раннюю пору вечера, на улице нет уж ни единой живой души... «Слава богу, – думаю я, – я теперь один... никто меня не тронет, никого не трогаю и я...»

Но сознавая всю приятность такого положения, я никак не могу не видеть, что к нему привели меня страдания, всякий раз ярко выступающие в моем воображении, как только я задумаю что-нибудь посмелее; и я не могу не думать о них, не искать им причины, не объяснять самому себе: отчего такое обилие страдания и такой полный нуль в результате?

Когда я думаю о прошлых годах, я вспоминаю великое множество разных лиц, между которыми, однако, нет «иностранца»; но как только в сознании моем выступает роковой вопрос о том, почему я так много и так бесплодно страдал и так мало получилось в результате, образ «иностранца» тут как тут...

Кстати сказать, выводя в этом очерке «иностранца», я не имею никакой иносказательной цели. Так случилось, что на известные мысли наводит меня эта фигура, и так случилось,

что фигура эта – «иностранец», и больше никакого особенного значения она для меня не имеет, потому что на те же самые мысли мог бы меня, как увидит читатель, так же легко навести россиянин, как и «иностранец», – стоит только быть таким же, как этот последний, живым человеком... Да, он, этот мелочной, «ползком» живущий человек, оказался точно и «живым» и «человеком»... Это я теперь подлинно знаю, после того как не один раз передумал в тяжелые минуты и свою и его жизнь, а главное после последнего его письма, полученного мною на днях через какого-то крестьянина: из письма этого оказалось, что «иностранец» живет поблизости того города, где и я обрел успокоение, и что он совершает и уж совершил – не переставая быть тем, чем был, – то дело «не для себя», о котором я, смеявшийся над его мелочностью, стараюсь забыть. Какое это дело, читатель узнает, когда я буду продолжать мой рассказ об «иностранце»; теперь же я никак не могу не сказать несколько слов собственно о себе, так как близость этого когда-то осмеянного человека особенно настойчиво побуждает меня вспоминать прошлое.

Итак, отчего же?

При этом вопросе мне прежде всего припоминается описанный уже осенний вечер. Потому «прежде всего», что именно с этого вечера мы разошлись надолго по разным дорогам, а главное потому, что никогда в другое время я не чувствовал между мной и «иностранцем» такой существенной разницы во всем – во взглядах на людей и жизнь – и ни-

когда, наконец, не была между нами так выяснена одна из главных причин этой разницы, которая привела нас к таким неожиданным результатам: меня – к нулю, его – к живому делу. «А у меня, – сказал тогда «иностранец», – интересы с семьей одни». А я еще тогда гордился, что «разорвал всякую связь»! Теперь же я нахожу корень моего поражения именно главным образом в этой разнице наших семей.

Семья «иностранца» жила на той же улице, где жила и моя семья; обе семьи были велики; мы были побогаче, они победней. Мой отец служил, его отец, да и не только отец, а и мать, и старший брат, и он сам, «иностранец», о котором идет речь, – все они давали уроки, причем сыновья должны были и учиться, ходить в гимназию, и давать уроки, зарабатывать хлеб. У нас было не то. У нас ни мать, ни бабка, ни родственницы и родственники, ни тем более дети – никто не знал, как получают деньги, каким трудом они достаются, откуда берется эта лошадь и т. д., и отец не только не открывал секрета, но, напротив, тщательно скрывал свою битву с жизнью за хлеб. В этой битве не мог принимать никакого участия никто из домашних, не мог, стало быть, жить сознательным участием к человеку, работающему на целый дом, а всякий только понимал, что его «кормят» и что это трудно; но как трудно – никто не знал. Не было, стало быть, главного основания для того, чтобы уважать друг друга, по разумному основанию взаимной помощи, не было развивающей понятие о жизни связи живых людей. Всякий, напро-

тив, чувствовал нечто утомляющее именно от непонимания, почему все это делается. Скучновато было готовить обед и скучно его есть, и как будто еда, пропитание, хотя и довольно жирное, и было единственно понятным, для всех связующим звеном. Все как будто жили вместе только потому, что никому и нигде в свете нельзя было найти другого места, где бы можно быть в тепле и сытым без всяких к этому затрат труда, ума, знания, каковые тут, в этой семье, и не требовались, потому что тут были иные (всеми, впрочем, считаемые обузой), только родственные, официальные связи, а внутренней живой связи людей, сошедшихся по взаимному вкусу, даже по расчету, определяемому людьми живого общества, – этого-то и не было. Живя в такой органически некрепкой семье, можно было только получить скуку к жизни, зависть и даже ненависть к людям, которые не боятся жизни, и приобрести очень прочное убеждение в необходимости иметь только деньги. Вот почему, когда новое место, новые люди, новые идеи и взгляды обступили меня по приезду в Петербург, мне необходимо было порвать «связь» с самым воспоминанием об этой жизни в семье. Я знаю очень хорошо, что отец не откровенничал, потому что ему было стыдно, и что он полагал, накопив денег, окружить своих детей всеми удобствами; но я знаю, что именно от этого я не понимаю и не интересуюсь живыми людьми, вообще человеком, потому что вся жизнь самого близкого мне человека, то есть именно такого человека, от которого я и мог иметь понятие о жизни, она-то была

сокрыта от меня и бесчисленных мне подобных. Теперь я вижу, что все такого же рода, как наша, семьи старались и хлопотали именно только о том, чтобы отгородиться от людей, чтобы обстроиться такими заборами, чрез которые не перелезешь, не схватишь, не достанешь, и в самом деле огораживались всеми правдами и неправдами, такими неправдами, что об них даже нельзя было знать. Самое понятие о том, что в людском обществе надобно «жить», а не только делать туда экскурсии, чтобы выхватить что-нибудь на молочишко, притащить это «что-нибудь» домой и съесть, – самое понятие это было не воспитано. Вот почему, при мало-мальском просторе, при мало-мальском знакомстве с тем, что есть в действительности, тотчас же, в один день, в один час, можно было совершенно бесследно забыть и десятки лет жизни в семье и решительно всех так называемых близких и, не понимая людей, не уважая посторонних живых существ, исповедывать теорию любви к человечеству, как это и было со мною.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.